

V. G. Korolenko

Отошедшие

**Ob Uspenskom, O
Chernyshevskom, O Chekhovizež.**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3

Korolenko V.G.

Отошедшие: Ob Uspenskom, O Chernyshevskom, O Chekhovižež. / V. G. Korolenko – М.: Книга по Требованию, 2013. – 120 с.

ISBN 978-5-517-85752-1

ISBN 978-5-517-85752-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

О Глѣбѣ Ивановичѣ Успенскомъ.

(Черты изъ личныхъ воспоминаній).

Есть люди, подобные монетамъ, на которыхъ чеканится одно и то же изображеніе. Другіе похожи на медали, выбиваемыя только для даннаго случая.

Гофманъ.

I.

Глѣбъ Ивановичъ Успенскій былъ именно такой медалью. Онъ былъ одинъ, самъ по себѣ, ни на кого не былъ похожъ, и никто не былъ похожъ на него. Это былъ уникъ человѣческой породы, рѣдкой красоты и рѣдкаго нравственнаго достоинства.

Нужно съ грустью признаться, что реальная личность писателя, художника, артиста—рѣдко совпадаетъ съ тѣмъ представленіемъ, какое мы составляемъ по ихъ произведеніямъ. Во время творчества идей, звуковъ, образовъ мы становимся нѣсколько выше нашей средней личности. Мы какъ бы уходимъ въ маленькую горную часовенку, отгороженную отъ нашихъ будней. А затѣмъ «когда не требуетъ поэта къ священной жертвѣ Аполлонъ», мы опять спускаемся съ этихъ вершинъ, которыя,—велики онѣ или малы,—все таки составляютъ выс-

шія точки нашего личного существованія. Иной разъ этотъ обычный уровень очень удаленъ отъ вершинъ, и вотъ почему такъ часто первое впечатлѣніе при встрѣчѣ съ писателемъ — бываетъ легкое движеніе разочарованія: намъ трудно связать въ одно цѣлое наше идеальное представленіе съ реальною личностью.

Но бывають дорогія и рѣдкія исключенія, когда оба эти представленія совпадаютъ вполне и нераздѣльно. Такимъ именно исключеніемъ былъ Глѣбъ Ивановичъ Успенскій.

Во второй половинѣ 80-хъ годовъ я жилъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, и среди моихъ близкихъ знакомыхъ былъ провинціальный писатель, который въ то время велъ литературный отдѣлъ въ одной изъ приволжскихъ газетъ. Всякій, кто жилъ уже сознательной жизнью въ то смутное и туманное время, помнитъ общій тонъ тогдашняго настроенія. У такъ называемой интеллигенціи начиналась съ «меньшимъ братомъ» крупная ссора (о которой послѣдній, впрочемъ, по обыкновенію даже не зналъ). Хотя Успенскій никогда не идеализировалъ мужика, наоборотъ, съ большой горечью и силой говорилъ о «мужицкомъ свинствѣ» и о распясовской темнотѣ даже въ періодъ наибольшаго увлеченія «устоями» и тайнами «народной правды», тѣмъ не менѣе въ это время онъ всей силой своего огромнаго таланта продолжалъ призывать вниманіе общества ко всѣмъ вопросамъ народной жизни, со всѣми ея болящими противорѣчіями и во всей ея связи съ интеллигентною совѣстью и мыслью. Такъ что съ реакціей противъ мужика началась реакція и противъ Успенскаго: къ нему обращались запросы, упреки, письма. Въ одной изъ своихъ статей въ «Отеч. Запискахъ» Глѣбъ Ивановичъ съ большимъ остроуміемъ отмѣчалъ и отражалъ это настроеніе

при самомъ его возникновеніи. Онъ характеризовалъ его словами: «надо и намъ». Что въ самомъ дѣлѣ: мужикъ заполонилъ всю литературу. Мужикъ да мужикъ, народъ да народъ. «Мы тоже хотимъ... Надо и намъ»... Нѣтъ сомнѣнія, что у этого настроенія были свои причины, пожалуй, далеко не безосновательныя. Еще недавно многіе, требовавшіе «и себѣ» красоты, мечты, яркихъ красокъ или вниманія—не только не требовали этого, но даже, забывая о себѣ, отдавали все личное меньшему брату. Но жизнь, обманутыя ожиданія завели ихъ въ тупой переулокъ, изъ котораго какъ будто не было выхода... Началось самоуглубленіе, самоусовершенствованіе, рѣшеніе вопросовъ изолированной личности, внѣ связи съ общественными вопросами, до тѣхъ поръ властно занимавшими умы и сердца. «Восемьдесятъ тысячъ верстъ вокругъ самого себя»—съ обычною мѣткостью характеризовалъ Глѣбъ Ивановичъ одну сторону этого настроенія. Огорченный и разочарованный, русскій интеллигентный человѣкъ углублялся въ себя, уходилъ въ культурные скиты или обиженно требовалъ «новой красоты», становясь особенно капризнымъ относительно эстетики и формы.

Отчасти это настроеніе переживалъ и мой пріятель. Кромѣ того, онъ былъ хорошо знакомъ съ иностранными литературами, относительно же русской въ его чтеніи были пробѣлы. Въ томъ числѣ и Успенскаго въ цѣломъ онъ не зналъ и раздѣлялъ предубѣжденіе противъ его настойчивыхъ призывовъ «все-таки смотрѣть на мужика».

Однажды онъ вошелъ въ мою гостиную, когда за чайнымъ столомъ, въ кружкѣ моей семьи и знакомыхъ, сидѣлъ Глѣбъ Ивановичъ, только что пріѣхавшій въ Нижній-Новгородъ. Онъ говорилъ о чемъ-то своимъ

обычнымъ тономъ, въ которомъ проглядывала какая-то сдержанная, глубокая печаль, по временамъ вдругъ уступавшая мѣсто вспышкамъ особеннаго, только Успенскому присущаго, тихаго юмора. Я представилъ своего пріятеля. Успенскій всталъ, пожалъ ему руку, невнятно пробормоталъ свою фамилію и опять обратился къ занимавшей его темѣ, которая уже овладѣла вниманіемъ слушателей. Взглянувъ случайно на своего пріятеля, я замѣтилъ на его лицѣ напряженное вниманіе, смѣшанное съ чрезвычайнымъ изумленіемъ. Черезъ четверть часа онъ поднялся съ своего мѣста и, выйдя въ сосѣдную комнату, поманилъ меня за собою.

— Кто это у васъ?—спросилъ онъ съ величайшимъ любопытствомъ.—Я не слышалъ его фамиліи.

— А что? Почему вы спрашиваете такимъ тономъ?

— Это какой-то необыкновенный человѣкъ. Отъ него... вѣтъ геніальностію.

— Поздравляю васъ, — отвѣтилъ я, смѣясь, — вы познакомились съ Глѣбомъ Ивановичемъ Успенскимъ.

Послѣ этого, мой пріятель нѣсколько недѣль занемъ изучалъ Успенскаго, все болѣе и болѣе увлекаясь, и въ приволжскихъ газетахъ появились статьи новаго страстнаго поклонника Глѣба Ивановича. Онъ былъ завоеванъ навсегда, и притомъ не писатель предположилъ его къ личности, а наоборотъ, необыкновенное обаяніе личности обратило скептика къ изученію произведеній писателя.

Глѣбъ Ивановичъ Успенскій не сказался въ своихъ произведеніяхъ со всею силой своей необыкновенной личности и своего таланта. Чистый образъ, тщательно выношенный въ душѣ и выплавленный изъ однороднаго художественнаго матеріала, вообще легче привлекаетъ вниманіе и живетъ дольше, чѣмъ та смѣсь образа и

публицистики, посредствомъ которой работалъ Успенскій. Ему нужна была не красота, не цѣльность впечатлѣнія, не самый образъ. Съ лихорадочной страстностью среди обломковъ стараго онъ искалъ матеріаловъ для созиданія новой совѣсти, правилъ для новой жизни или хотя бы для новыхъ исканій этой жизни. То, что онъ предполагалъ извѣстнымъ, общимъ у себя и читателя, надъ тѣмъ онъ не останавливался для детальной отдѣлки, то отмѣчалъ только бѣглымъ штрихомъ, заполнялъ кое-какъ, лишь бы не оставить пустоты. Наоборотъ, то, что еще только мелькало впереди смутными очертаніями будущей правды,—за тѣмъ онъ гнался страстно и торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится въ душѣ въ ясный, самодовлѣющій образъ. Онъ пытался обрисовать его поскорѣе для насущныхъ надобностей данной исторической минуты тѣми словами, какія первыя приходили на умъ. Отъ этого онъ часто повторялся, все усиливая находямыя идеи, заставлялъ читателя переживать съ нимъ вмѣстѣ и его поиски, и его разочарованія, и всю подготовительную работу, пускалъ своихъ жильцовъ, когда у постройки еще не были убраны лѣса. Все это искупалось важностью и насущностью занимавшихъ Успенскаго вопросовъ, а общность настроеній писателя и его читателей заполняла пробѣлы въ этой торопливой работѣ. Теперь, когда настроеніе измѣнилось, пробѣлы выступаютъ яснѣе, и, въ цѣломъ, Успенскій становится «трудень». Однако, всякій, кто не побоится лѣсовъ и видимаго беспорядка въ этой огромной работѣ—наткнется здѣсь и на замѣчательные образы, носящіе печать болѣе чѣмъ крупнаго таланта, и на глубокія, прямо «проникновенныя» мысли (напр., во «Власти земли», этой философіи и эпопеѣ земледѣльческаго труда)... Но осо-

бенно интересна во всемъ этомъ—самая личность автора, съ ея своеобразной глубиной, съ ея необыкновенной чуткостью къ вопросамъ совѣсти, съ ея смятеніемъ и болью...

И всякій, кто зналъ Успенскаго лично, кто помнить это обаяніе и значительность основного душевнаго тона, который сразу чувствовался во всякомъ словѣ, движеніи, взглядѣ задумчивыхъ глазъ, въ самомъ даже молчаніи Успенскаго,—согласится съ отзывомъ моего пріятеля: отъ этой своеобразной, единственной въ своемъ родѣ личности дѣйствительно «вѣяло геніальностію»...

II.

Съ Глѣбомъ Ивановичемъ Успенскимъ я познакомился лично въ мартѣ или апрѣлѣ 1887 года.

Въ одну трудную эпоху моей жизни, я получилъ отъ него черезъ третьи или четвертыя руки нѣсколько словъ привѣта и ободренія, по поводу моихъ первыхъ литературныхъ опытовъ. Это вниманіе любимаго писателя къ неизвѣстному и затерянному въ ссылкѣ молодому человѣку, и та заботливость, съ которой онъ старался переслать свой привѣтъ черезъ разныя посредствующія инстанціи,—меня глубоко тронули и залегли въ моей душѣ чувствомъ особой благодарности не только къ писателю, но и къ человѣку. Съ этимъ чувствомъ я подымался въ 5-й (кажется) этажъ большого дома на Васильевскомъ островѣ, гдѣ въ тѣ годы жилъ Успенскій. Въ то время портреты писателей не были такъ распространены, какъ теперь, и я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о наружности Успенскаго. Въ передней, куда я вошелъ, меня встрѣтилъ кто-то изъ молодежи, наполнявшей сосѣднія комнаты. Былъ, помнится, какой-то се-

мейный праздникъ, въ квартирѣ было весело и шумно. Надъ семьей тогда не чувствовалось еще приближеніе грозы, которая уже готовилась въ близкомъ будущемъ, и молодежь беззаботно веселилась, наполняя шумомъ всю квартиру. Я назвалъ свою фамилію, и черезъ нѣсколько минутъ очутился въ объятіяхъ человѣка, котораго въ первое время не успѣлъ хорошенько раз-смотреть. Только когда онъ отодвинулся, чтобы взглянуть мнѣ въ лицо, я увидѣлъ въ первый разъ его удивительные глаза, широко разставленные и глубокіе. Въ нихъ было что-то ласковое и печальное въ то же время; лицо показалось мнѣ усталымъ. Помню, однако, что оно какъ то сразу, безъ всякаго промежуточнаго впечатлѣнія и разлада,—слилось со всѣмъ лучшимъ, что отлагалось въ душѣ отъ его произведеній. Мнѣ казалось только, что лицо и взглядъ автора «Будки», «Разоренья» и столькихъ картинъ, полныхъ яркаго и своеобразнаго юмора—должны бы быть нѣсколько веселѣе. Однако я чувствовалъ, что отъ этого оно не стало бы лучше, чѣмъ съ этой грустью, сосредоточенной, вдумчивой и какъ будто давно отложившейся на самомъ днѣ этой глубокой души.

Наскоро познакомивъ со своей семьей, Глѣбъ Ивановичъ увелъ меня въ свою маленькую рабочую комнатку налѣво отъ входа. Усадивъ меня, онъ сѣлъ самъ и закурилъ папиросу. Первую минуту оба мы молчали, но отъ этого молчанія мнѣ совсѣмъ не было неловко. Наоборотъ, съ первой же минуты я почувствовалъ себя близкимъ къ этому человѣку съ печальными глазами и ласковой улыбкой, какъ будто мы были давно знакомы. Онъ курилъ и прислушивался къ веселому шуму молодежи, доносившемуся изъ сосѣднихъ комнатъ. Когда взрывы веселья становились особенно ярки, лицо Глѣба

Ивановича какъ-то внезапно свѣтлѣло, и онъ глядѣлъ на меня смягченнымъ взглядомъ, какъ будто приглашая принять участіе въ этой общей радости. Потомъ, какъ бы продолжая давно начатый разговоръ, онъ разсказалъ мнѣ о своихъ дѣтяхъ, объ ихъ характерахъ и о причинѣ семейнаго праздника...

Подробностей этого перваго разговора я, почему-то, не помню такъ ясно, какъ запомнились мнѣ впоследствии многія другія наши бесѣды. Помню только, что уже въ серединѣ вечера разговоръ коснулся Достоевскаго.

— Вы его любите?—спросилъ Глѣбъ Ивановичъ.

Я отвѣтилъ, что не люблю, но нѣкоторыя вещи его, напримѣръ „Преступленіе и наказаніе“, перечитываю съ величайшимъ интересомъ.

— Перечитываете?—переспросилъ меня Успенскій какъ будто съ удивленіемъ и потомъ, слѣдя за дымомъ папирасы своими задумчивыми глазами, сказалъ:

— А я не могу... Знаете ли... у меня особенное ощущеніе... Иногда ѣдешь въ поѣздѣ... И задремлешь... И вдругъ чувствуешь, что господинъ, сидѣвшій противъ тебя... самый обыкновенный господинъ... даже съ добрымъ лицомъ... И вдругъ тянется къ тебѣ рукой... и прямо... прямо за горло хочетъ схватить... или что-то сдѣлать надъ тобой... И не можешь никакъ двинуться.

Онъ говорилъ это такъ выразительно и такъ глядѣлъ своими большими глазами, что я, какъ бы подъ внушеніемъ, самъ почувствовалъ легкое вѣяніе этого кошмара и долженъ былъ согласиться, что это описаніе очень близко къ ощущенію, которое испытываешь порой при чтеніи Достоевскаго.

— А всетаки, есть много правды,—возразилъ я.

— Правды?..

Глѣбъ Ивановичъ задумался и потомъ, указывая

двумя пальцами въ тѣсное пространство между открытой дверью кабинета и стѣной,—сказалъ:

— Посмотрите вотъ сюда... Много ли тутъ за дверью устанется?

— Конечно, немного,—отвѣтилъ я, еще не понимая этого страннаго перехода мысли.

— Пара калошъ...

— Пожалуй.

— Положительно: пара калошъ. Ничего больше...

И вдругъ, повернувшись ко мнѣ лицомъ и оживляясь, онъ докончилъ:

— А онъ сюда столько набьетъ... человѣческаго страданія, горя... подлости человѣческой... что прямо на четыре каменныхъ дома хватить.

Я невольно улыбнулся. Впослѣдствіи мнѣ пришлось не разъ встрѣчаться съ этимъ изумительнымъ умѣніемъ Успенскаго—двумя-тремя словами, комбинаціей первыхъ попавшихся на глаза предметовъ,—объяснять и иллюстрировать сложныя явленія, для которыхъ другимъ нужны длинныя разсужденія и множество словъ... Его сужденія всегда бывали кратки, образны, били въ самую сущность явленія и часто освѣщали его съ неожиданной стороны. И никогда въ нихъ не было того легкаго остроумія, въ которомъ чувствуется равнодушіе къ предмету и безразличная игра ума. До сихъ поръ я помню выраженіе лица, съ какимъ онъ произносилъ эти слова: «страданіе», «горе», «подлость человѣческая»—въ приведенномъ отзывѣ о Достоевскомъ. Для него это не были простыя понятія: каждое изъ нихъ отражалось болью на его выразительномъ лицѣ...

Можетъ быть, въ этой особенной чуткости сказывалась уже близкая болѣзнь... Но въ то время мнѣ это не приходило въ голову, тѣмъ болѣе, что и эта печаль,

и эта чуткость сливались въ цѣльный образъ, слишкомъ привлекательный, чтобы казаться болѣзненнымъ. Во время разговора онъ страшно много курилъ, и здѣсь опять у него былъ свой особенный, оригинальный приемъ: докуривъ папиросу до половины, онъ вынималъ изъ нея своими тонкими, нервными пальцами картонный мундштукъ и какъ-то особенно-ловко надѣвалъ недокуренную папиросу на другую, новую. Съ этой послѣдней черезъ нѣкоторое время онъ продѣлывалъ то же самое, и такимъ образомъ его папироса не уменьшалась, а наоборотъ, достигала иногда необычайныхъ размѣровъ...

Впослѣдствіи много разъ приходилось мнѣ проводить время съ Глѣбомъ Ивановичемъ, и почти всегда при этомъ я видѣлъ у него во рту эту длинную составную папиросу, которую онъ все дополнялъ съ привычной ловкостью. Нерѣдко также около него стояла бутылка вина или пива... Очень можетъ быть, даже навѣрное, что и это неумѣренное куренье, и вино оказали свое вредное вліяніе и ускорили наступленіе болѣзни. Но меня всегда коробить и оскорбляетъ, когда я слышу или читаю объ алкоголизмѣ или «обычномъ пороѣ талантливыхъ людей» въ примѣненіи къ Глѣбу Ивановичу Успенскому. Я лично пьянымъ его никогда не видѣлъ... Мнѣ кажется, что у него не было любви ни къ вину, ни къ вызываемому виномъ измѣненію личности. Да такого измѣненія и не было: онъ оставался все тѣмъ же, съ тѣмъ же грустно-задумчивымъ взглядомъ и той же улыбкой... Вообще, когда теперь я вспоминаю эту папиросу и вино и то, что я, безъ привычки, тоже курилъ и пилъ въ присутствіи Глѣба Ивановича, и что ни куренье, ни табакъ не оказывали на меня никакого дѣйствія,—то мнѣ кажется, что это было какое-то ров-